
РИМ И ИТАЛИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

УДК 821.131.1

Лозинская Е.В.

ПРОСВЕЧИВАЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВА: ИТАЛИЯ, РИМ И ФЛОРЕНЦИЯ У «ТРЕХ ВЕНЦОВ» ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ¹

*Институт научной информации по общественным наукам, РАН
Москва, Россия, jane.lozinsky@gmail.com*

Аннотация. И Данте, и Петрарка вынашивали мечту об Италии как едином культурном и политическом пространстве, в котором поэту отведена особая роль. Они сознавали различия между прошлым и настоящим, но в их представлениях Италия отчасти сливалась с Римской империей, а значимые для них города – Флоренция для Данте и Рим для Петрарки – становились эпитомой всего итальянского мира. Однако Данте мыслил империю как универсальную и имеющую духовную основу, а у Петрарки идея империи приобрела более отчетливую национальную окраску. Имперские мечты обоих поэтов не получили воплощения в жизнь, однако их наследнику – Джованни Боккаччо – удалось заложить основы единого итальянского мира как пространства общей поэтической культуры.

Ключевые слова: Данте Алигьери; «Комедия»; «Пир»; «Монархия»; Послания; Франческо Петрарка; «Африка»; «О знаменитых мужах»; письма; Джованни Боккаччо; «Изъяснения на Комедию Данте»; «Италии верная слава»; «Жизнь Данте»; Империя; национальная идентичность; общественная роль поэта и гуманиста.

Поступила: 15.04.2019

Принята к печати: 20.05.2019

¹ © Е.В. Лозинская, 2019.

Lozinskaya E.V.

**Translucent spaces: Italy, Rome and Florence
in the works of the Italian poetical «tre corone»**

*Institute of Scientific Information for Social Sciences of
the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, jane.lozinsky@gmail.com*

Abstract. Both Dante and Petrarch dreamed of Italy as a unified cultural and political space where the poet gets a special role. Although each of them recognized the differences between the past and the present, the Italy of their imagination could merge with the Roman Empire, and cities important for their identity – Florence for Dante and Rome for Petrarch – could epitomize the Italian world as a whole. However, Dante's imperial ideal was universal and spiritually founded, while the Petrarch's concept of the empire acquired nationalist overtones. The imperial dreams of both poets were not realized, but their successor, Giovanni Boccaccio, managed to lay the foundation for a unified Italian world as a space of common poetic culture.

Keyword: Dante Alighieri; «Commedia»; «Convivio»; «Monarchia»; epistles; Francesco Petrarca; «Africa»; «De viris illustribus»; letters; Giovanni Boccaccio; «Esposizioni sopra la Comedia di Dante»; «Ytalie iam certus honos»; «Vita di Dante»; Empire; national identity; civil endeavour of poet and humanist.

Received: 15.04.2019

Accepted: 20.05.2019

«Италия – понятие географическое», – так выразился князь Клеменс фон Меттерних в дипломатической переписке 2 августа 1847 г.¹ Но эта фраза, в контексте письма имевшая вполне конкретный политический смысл без какого-либо пренебрежительного оттенка, разошлась весьма широко и вызвала резкую реакцию в самой Италии. Она казалась унижительной, поскольку, несмотря на отсутствие общего государства и различие диалектов², ощущение единого культурного пространства у итальянцев имелось. Джозуэ Кардуччи в «Речи над могилой Петрарки» (1864) сформулировал его суть не менее афористично: «Италия – понятие литературное, поэтическая традиция» [Carducci, 1935, p. 346]. О существовании литературного, культурного единства, более значимого, чем политическое, говорили У. Фосколо, Л. Берше, И. Ньюво, Л. Сеттембрини и многие

¹ Текст письма и любопытные историографические и культурно-политические наблюдения над восприятием фразы итальянцами см. в [Brunetti, 2005].

² Заметим, что иногда Меттерниху также приписывалось продолжение фразы: «...это определение, основанное на общности языка», – отсутствовавшее в тексте письма, но отражавшее представление итальянцев о собственной идентичности.

другие. И фундаментом его в восприятии итальянцев была поэзия – Данте и Петрарки в первую очередь. К ним обычно присоединялся третий «венец» – Боккаччо или кто-то еще, – но основание этой традиции всегда составляли два величайших итальянских поэта.

Между тем сами они мыслили итальянское единство немногим иначе: как общее пространство, для целостности которого политика имела не меньшее, а даже большее значение, чем поэзия. Но, будучи поэтами и философами, они преобразовывали политику в поэзию и философию – в рамках своей мечты о единой империи, где поэт занимает важное место – не менее значимое, чем политик. Единая Италия была для них также неотделима от ее исторического прошлого – классического Рима, переплетенного в их сознании с идеей Священной Римской империи. Политическим объединительным чаяниям поэтов не было суждено осуществиться, но их литературному наследнику – Джованни Боккаччо – удалось заложить основы того самого единства Италии как «поэтической традиции», однако устранив из нее политические аспекты.

* * *

Идея Империи занимает серьезное место в духовном наследии Данте. Хотя классическая работа о его политических взглядах расценивает «теоретический гибеллизм» поэта как отклонение в сторону на его умственном пути [d'Entrèves, 1952], более поздние исследователи пришли к выводу о том, что Империя являлась одной из опорных колонн дантовского мировидения¹. При этом дантовская Империя не была утопией, теоретической моделью идеального государства или же «фактом прошлого, способным разве что обеспечить модель для настоящего, она являлась живой исторической реальностью» [Fontanella, 2014, p. 39].

Каковы основные черты дантовской имперской теории? Империя Данте – земная, это способ организации человеческого общежития². В его основании – «насуущая потребность человеческого

¹ См. [Davis, 1957; 2007; Ricci, 1971; Fontanella, 2014; 2016; Ferrante, 2014].

² В некоторых работах (см., например [Ferrante, 2014, p. 47–49]) акцентируется связь между империей и Небесным Иерусалимом – преимущественно на

общества (*umana civilitate*¹), устроенного ради достижения единой цели, а именно счастливой жизни (*vita felice*)» (Conv., 4:4:1) [Алигьери, 1968, с. 208]². Следует отметить, что речь идет о достижении не блаженства, а счастья, т.е. благополучного земного существования. Заметим, что и свою роль как поэта он видит в том же самом: «вырвать живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести к состоянию счастья» (Ер., 13:39) [там же, с. 389].

Препятствием на пути к достижению человечеством счастья является *cupiditas* (алчность), «корень всякого зла», как сказано в Писании (1 Тим. 6:10). «Человеческая душа <...> всегда жаждет славы новых приобретений», не удовлетворяясь тем, что имеет. Оттого и возникают усобицы и войны между государствами, отражающиеся на всех уровнях социальной структуры. Для устранения подобного положения вещей необходима Монархия – единое государство во главе с государем, который, «владея всем и не будучи в состоянии желать большего», поддерживал бы мир между людьми. Данте прибегает здесь к образу корабля, который в политическом контексте использует неоднократно: «...для совершенства вселенского союза человеческого рода должен быть как бы единый кормчий», именно «от него исходят все повеления, и то, что он изрекает, – для всех закон» (Conv., 4:4:3–7) [там же, с. 209].

основе «Комедии», однако этому противоречит концепция, изложенная в четвертой книге «Пира» и в «Монархии».

¹ Термин *civilitate* (лат. *civilitas*) является переводом аристотелевского понятия *politeia* и означает не столько общество как феномен, сколько гражданское устройство человеческого общежития – взятое как в структурном, так и в процессуальном планах. На анализе этого понятия строится монография [Mancusi-Ungaro, 1987]; см., однако, рецензию Ч. Дэвиса [Davis, 1987], в которой содержится справедливый упрек автору в непоследовательности при определении центрального понятия, впрочем, извиняемой некоторой текучестью семантики термина у самого Данте.

² На русском языке «Комедия» цитируется в переводе А.А. Илюшина [Алигьери, 1995]. При значимых расхождениях перевода с оригиналом приводится подстрочник (в скобках и без кавычек). Отсылки всегда даются не к странице книги, а к номеру кантики, песни, стиха (исходя из оригинального текста – [Alighieri, 1994]). Тракаты и послания в русском переводе цитируются по [Алигьери, 1968]. В тексте статьи отсылки приводятся к номерам страницы данного издания и к соответствующим местам изданий [Alighieri, 1995; 1996a; 1996b] – без указания страниц, в традиционной форме.

Данте мыслит Империю в первую очередь как долг (*officium*) – гражданскую обязанность, возложенную на Императора и принятую им на себя. В соответствии с реальной действительностью своего времени и одновременно старой римской традицией он связывает ее с идеей выборности, но придает этому не столько политический, сколько провиденциальный и исторический смысл. «Избрание этого должностного лица должно было прежде всего восходить к тому решению, которое служит провидением для всех, т.е. к Богу» (Conv., 4:4:9) [там же, с. 210]. При этом идея избранничества распространяется им и на саму Римскую империю как таковую. Римляне – избранный, «святой», по выражению поэта, народ – наряду с еврейским, но в ином – политическом – смысле.

Причины такого выбора лежат и в самом римском народе и вне его. С одной стороны, происхождение римлян «наизнатнейшее», «ведомое от Энея» (Mon., 2:3) [там же, с. 323–325], к крови латинского народа «примешана знатная троянская кровь», а именно знатнейшему надлежит занимать первое место. И характер римлян отвечает имперской роли: «...не было и не будет натуры более мягкой в своем владычестве, более твердой в своем долготерпении и более хитроумной в своих завоеваниях»; римский народ обладает «величайшими добродетелями», «величайшим и человечнейшим смирением», необходимым для осуществления мирового владычества (Conv., 4:4:9) [там же, с. 210]. С другой стороны, Римская история в ключевых моментах пересекается со Священной: «...когда родился Давид, родился и Рим, т.е. тогда, когда Эней прибыл из Трои в Италию, от чего и возникло римское государство», «святой город родился одновременно с зарождением корня Мариинова рода» (Conv., 4:5:6) [там же, с. 211]. Избранность римского народа подтверждается также и чудесами, которыми Бог сопровождал их историю (Mon., 2:4), и тем, что Христос «соизволил родиться от Девы Матери в дни, когда было обнародовано повеление римской власти» о переписи и, стало быть, «делом подтвердил, что повеление Августа, действовавшего от имени римлян, было справедливо», а власть Тиберия являлась властью по праву (Mon., 2:11) [там же, с. 339]. Распространение римского владычества над миром объясняется не просто силой, а соответствием естественному закону справедливости («Римский народ был предназначен природой к тому, чтобы повелевать» – Mon., 2:6:11) и божественной воле, находящей выражение в откровении (Mon., 2:7), разно-

видностью которого является поединок (*duellum*) – а именно так Данте воспринимает римское завоевание других народов (*Mon.*, 2:9:1).

Политический дискурс Данте сочетает в себе ценности всеобщего мира и свободы, не противопоставляемые друг другу¹. В «Монархии» эта концепция обосновывается философски, с опорой на Аристотеля (*Mon.*, 1:12), а более кратко – в Послании флорентийцам: соблюдение основанных на природной справедливости законов «...не только не имеет ничего общего с рабством, но, по здравому рассуждению, является проявлением самой совершенной свободы... свободны только те, кто охотно подчиняется законам» (*Ep.*, 6:22) [Алигьери, 1968, с. 373].

Данте также настаивает на своего рода разделении «римских властей»: власть папы касается вопросов спасения души, а не политики, – и отвергает концепцию Константина дара, его антипапские высказывания в «Комедии», нашедшие кульминацию в XXXII песни «Чистилища» (*Purg.*, 32:112–160), связаны именно с претензиями папства на земную власть. Вместе с тем император не формулирует этический закон, он его реализует. В определении законов этики – ведущая роль у философов, в определении путей спасения – у Церкви. И здесь становится ясен смысл дантовской теории поэтического *officium*, изложенной в послании Кан Гранде (*Ep.*, 13). Поэт – в первую очередь моральный философ, т.е. тот кто формулирует, находит естественные моральные законы². И одновременно поэт причастен ко второй ветви власти – священной, будучи отчасти боговдохновенным пророком, «писцом божьим» («*scriba Dei*» – *Par.*, 10:27), именно поэтому он настаивает в послании на том, что к «Комедии» применимы герменевтические процедуры, аналогичные используемым в интерпретации Писания.

В этом философском контексте следует толковать представления Данте об истории Рима. Ее общая схема символична: начало

¹ В течение долгого времени *libertas* связывалась исследователями с идеологическим цicerонизмом и республиканством, а любая монархическая власть ассоциировалась с идеей мира (*paх*), и в каком-то смысле *libertas* и *paх* противоречили друг другу. Сопротивление коммун императорской власти или власти синьоров во многом было замешано на идеологии *libertas*. А. Ли [Lee, 2018] успешно показал, что в реальности ситуация была намного сложнее – и в практическом, и в теоретическом планах.

² Поэтому Данте не считает чем-то неподобающим опровергать в «Пире» взгляды Фридриха II на благодетельство.

истории – семь царей, завершение – шесть императоров (Par., 6): Юлий Цезарь, Октавиан Август, Тиберий, Тит, Юстиниан, Карл Великий. Данте уделял особое внимание символике чисел, и этот перечень требует завершающего члена, которым, разумеется, должен стать Генрих VII – «преемник Цезаря и Августа» (Er., 7:5). К нему Данте относит пророчество первой песни Энеиды «Чудный возникнет из рода Троянского Кесарь». И затем в фигуре Генриха Люксембурга сливаются одновременно Эней, Юлий Цезарь, Иисус Навин, пророк Исайя, и более того – император уподобляется самому Христу (Er., 7:10). В соответствии с томистской теорией означивания¹, вещь, событие, человек могут сами по себе являться знаком других вещей, событий, людей, сущностей, и в послании Генриху этот избыточный ряд сравнений стоит, на наш взгляд, рассматривать не только как риторическое подкрепление примерами, но и как аллгорию *in factis*². В правлении Генриха Данте на тот момент предвидит осуществление Римской империи в ее полноте – в которой сливаются античное, ветхозаветное и новозаветное начала.

Однако между царским и императорскими периодами имелся республиканский, и для Данте он, пожалуй, даже более важен и интересен, чем имперский Рим³. Именно тогда Рим простер свою власть над миром – получив ее в «поединках» с иными народами, но имеет значение не только экспансия. Перечисляя в «Пире» (Conv., 4:5:13–15) значимых для него исторических деятелей, Данте подчеркивает их способность к жертвам во имя *rei publice*. Римский народ, вообще, смог «отрешиться от всякой корысти, вечной противницы общего дела» («*omni cupiditate summoti que rei publice semper adversa est*» – Mon., 2:5:5). Другой принципиальный для Данте момент – приверженность римлян свободе. Для Сципиона Младшего отмечается не только его роль в установлении господства Рима (Inf., 31:116–117; Par., 27:61–63), но и его духовное ка-

¹ См. о ней [Эко, 2003, с. 101–104]. Данте отклонялся от ортодоксального томизма в первую очередь там, где утверждал наличие в «Комедии» высших, аллегорических смыслов, аллгории *in factis* (сама возможность этого отрицается св. Фомой).

² Средневековая семиотика допускала подобное, инвертированное в темпоральном и бытийно-иерархическом отношении, означивание.

³ Это уже не раз отмечалось исследователями, см. [Hollander, Rossi, 1986; Thompson, 1978; Whitfield, 1978; Davis, 1957].

чество – *franchezza* (Conv., 4:5:19). Это понятие этимологически связано со свободой и, кроме того, включает в себя твердость духа, верность, смелость [Consoli, 1971]. Цицерон также отмечен за свою способность защитить римскую свободу в борьбе с Катилиной («*contra tanto cittadino quanto era Catellina la romana libertate difese*»).

И в целом Рим, по мысли поэта, «возвеличивали граждане, обладавшие природой не просто человеческой, но божественной, в которых любовь ко граду была не просто человеческой, но божественной»¹ (Conv., 4:5:12). Эта идея находит воплощение в фигуре Марка Порция Катона Младшего (Утического) (95–46 гг. до Р.Х.) – защитника республиканских порядков и противника Цезаря. У Данте Катон являет собой высшую политическую добродетель, поскольку считал себя «рожденным не для себя, а для отечества и для всего мира» (Conv., 4:27:3) [Алигьери, 1968, с. 261], т.е. был по самой своей сути лишен *cupiditas*. И характеризуя в пятой главе четвертой книги «Пира» всех остальных римлян через их наиболее яркие и жертвенные деяния, по отношению к нему поэт прибегает к фигуре умолчания: «О ты, священнейшее сердце Катона, кто посмеет о тебе говорить? Конечно, большего о тебе не скажешь, как промолчав и последовав примеру Иеронима, который во вступлении к Библии, там, где он касается Павла, говорит, что лучше о нем умолчать, чем сказать мало» (Conv., 4:5:16) [там же, с. 212]. Уже здесь проводится параллель между Катоном и апостолом, а далее образ Катона приобретает символизм наивысшего уровня. Данте излагает историю Марции, второй жены Катона, как историю человеческой души (Conv., 4:28:16–17), тесно переплетая гражданские и христианские мотивы, и в ней римский политик становится знаком Бога: «И какой смертный муж более, чем Катон, достоин обозначать собою Бога? Конечно, ни один» (Conv., 4:28:15) [там же, с. 265].

В «Комедии» Марция, как то и следует, помещена поэтом в Лимб, где находятся добродетельные души, не знавшие Христа (Inf., 4:127). Ее же супруг выведен Христом из Лимба и сделан стражем Чистилища (Pg., 1:70–72). Однако Катон Утический не

¹ Исследователями отмечалась имплицитная полемика Данте с бл. Августином, для которого добродетели римских деятелей оставались языческими добродетелями, ущербными по своей природе [Lenkeith, 1952].

только язычник, но и покончил с собой, и такое решение поэта на протяжении многих веков заставляло комментаторов и исследователей сомневаться в его ортодоксальности¹, тем более что бл. Августин (О Граде божьем, Кн. 1, гл. 23, 24) ставит Катона ниже Марка Аттилия Регула именно из-за неспособности покориться Цезарю, смиренно претерпеть страдание, подобно Иову.

Для Данте важно, что Катон – «строжайший блюститель подлинной свободы» («severissimi vere libertatis tutoris»), его африканская военная экспедиция описывается, например, как бегство от тирании Цезаря вместе с римским народом (Conv. 3:5:12)². Так же Данте рассматривает и его самоубийство: Катон «предпочел уйти свободным из жизни, чем оставаться в ней без свободы», это не грех, а «несказанная жертва» (Mon. 2:5:15–17) [там же, с. 329]. И это вполне согласуется с христианской этикой, если Катон Утический был одним из «вдохновленных свыше» орудий, «коими пользовалось божественное провидение», «удивительные деяния совершались ими не без некоего озарения божественной добротой» (Conv., 4:5:15, 17). В таком контексте его самоубийство можно сблизить с теми самоубийствами христианских святых, о которых Августин говорит: они «поступили таким образом не по ошибке, а во имя исполнения божественного повеления, не заблуждаясь, а повинуюсь» (О Граде божьем, Кн. 1, гл. 26).

Таким образом, в образах древних римлян и Рима сливается историческое и божественное, республиканское и имперское, римляне – святой народ, отрешившийся от cupiditas, но именно поэтому завоевавшие мир, будучи притом защитниками свободы. И этот Рим не погиб, а нашел, точнее должен найти, продолжение в настоящем – в этом Данте возлагает надежды на Генриха VII, а после его смерти на Кан Гранде делла Скала.

Каково здесь место Италии? С одной стороны, «славная власть римлян не ограничена ни пределами Италии, ни берегами трирогой Европы» (Ер., 7). С другой – Италия для Данте весьма важна, это сад империи (Purg., 6:105), хотя и пребывающий в запустении, и Данте призывает соотечественников: «Возьмите граб-

¹ Обзор мнений относительно дантовской трактовки образа Катона в контексте его самоубийства (от ранних комментаторов до современных исследователей) дан М. Фубини [Fubini, 1970].

² Отметим снова очевидную библейскую аллюзию.

ли смирения и, разбив комья гордыни обиды, разравняйте поле вашей души <...> заставьте семена раскрыться и взрастите, как плодородная долина, пышную зелень» (Ер., 5) [там же, с. 369]. Вместе с тем Италия неоднократно упоминается как географический регион («О народном красноречии»¹ – 31 раз, в посланиях – 15, в «Монархии», «Комедии» и «Пире – по 8), и Данте относит к италийцам не только римлян и жителей Альбы Лонги, но и самнитов и сабинян. И все же ее история неотделима от «Большого Рима» начиная с эпохи Пунических войн и вплоть до современности: Сципион в «поединке» выступает за италийцев, Ганнибал – за африканцев (Мон., 2:9), в шестой песни «Чистилища» Юстиниан упоминается как правитель Италии, однако и Альберт I (Габсбург, коронованный Римским королем, но не императором) – тоже.

В Послании к народам и правителям Италии Данте обращается к ним «граждане Лация» – «*incole Latiales*» и призывает «очиститься от варварской крови», вспомнить, что они римляне и троянцы, пусть в них и течет кровь лангобардов и скандинавов. При этом слово «кровь» для Данте в данном случае не связано с национальным происхождением, а скорее означает рабство греху. Генрих VII принес на итальянскую землю «капитолийские знамена» и призван «освободить италийцев от рабства», и опять же очевидно, что речь идет не о каком-то чужеземном владычестве, а о расприх, ставших следствием *superbia*, *invidia* и *cupiditas*. В знаменитой инвективе «Италия, ты в рабстве закоснела...» (Purg., 6:75–151) появляются многие ключевые образы и эпитеты для описания гражданских нестроений: судно, оставшееся без кормчего, вдовица, вызывающая к покинувшему ее супругу², и описание современного состояния Италии зеркально отражает описание идеального общества в «Пире» (Conv., 4:4).

Однако начиная со 127 стиха инвективы Данте переходит от Италии к Флоренции, саркастически показывая ее как воплощение присущих всей современной поэту Италии пороков. И тема Фло-

¹ В этом трактате, где, по выражению М. Тавони, Данте «утверждает существование и выявляет характеристики несуществующего феномена» – итальянского литературного языка [Tavoni, 2012, p. 22], Италия выступает в качестве некоторого национального единства. Но даже там речь идет о «*vulgare latium*», и более того, трактат имеет имплицитные отсылки к имперской идее [Tavoni, 2016].

² Литературный топос «Италии-жертвы» детально проанализирован в [Costa-Zalessow, 1968; 1991].

ренции – одна из самых болезненных для Данте. Он, несомненно, воспринимал Флоренцию как собственную родину (см. например, Послание флорентийскому другу – Ер., 12) и неоднократно называл себя флорентийцем. В десятой песни «Ада» Фарината дельи Уберти узнает в Данте соотечественника по говору (Inf., 10:22, 25–26), в шестнадцатой песни, обращаясь к флорентийцам, поэт говорит: «Di vostra terra sono» (я из вашей земли – Inf., 16:58). На рубеже веков Данте принимал активное участие в управлении городом, где приобрела особый накал борьба между гвельфскими фракциями, одним из следствий которой и стало изгнание поэта. «Каких-то серьезных идеологических, классовых, экономических противоречий между этими партиями, по сути дела, не было», и «трудно отыскать политическую и историческую логику в том, что очень скоро приобрело размах гражданской войны» [Најету, 2007, р. 237]. Однако отсутствие политической и исторической логики не означает отсутствия логики теологической и антропологической, которую прозревал поэт.

«Флорентийский субтекст» (выражение Р. Холландера) входит в поэме в VI песни «Ада» с появлением фигуры некоего флорентийца Чакко, осужденного за грех чревоугодия, от его лица Флоренция характеризуется как город, полный ненавистью («riena d'invidia...») (Inf., 6:49–50). Чуть ниже Чакко дает пророчество о продолжении политических раздоров, где выставляются в качестве причины уже все три тяжелейших, и важнейших в дантовском представлении, греха: «...superbia, invidia e avarizia sono / le tre faville c'hanno i cuori accesi» (гордость, ненависть и алчность – три искры, воспламенившие сердца) (Inf., 6:74–75). Аналогичная инвектива против Флоренции исходит из уст Данте-персонажа, когда тот в ответ на вопрос Джакомо Рустикуччи о судьбе родного города отвечает: «Корыстолюбьем, спесью своенравной род ненавистный проходимцев новых тебя, Флоренция, отравил бесславно» («La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni») (Inf., 16:73). В данном случае упоминается orgoglio – практически синоним superbia – и стремление к скорому обогащению (в основе имеющее все ту же cupiditas).

«Новые люди» (la gente nuova) – это бывшие жители окрестностей, в чем сходится большинство комментаторов. Речь Каччагвиди (Par., 15–17) дает основания акцентировать их принадлежность к

слою нуворишей, порождению развивающейся флорентийской экономики, который Данте в своем аристократическом консерватизме презирует. Однако дополнительные оттенки это выражение приобретает, если вспомнить еще одно важное упоминание Флоренции в предыдущей, пятнадцатой, песни «Ада» (Inf., 15:61–62, 73–78), где Брунетто Латини, учитель Данте, делая пророчество о его изгнании, характеризует некоторых флорентийцев как «потомство фьезоланцев ранних», «чьи души – камни, дела непотребны», и противопоставляет их другим – «благостному семени тех древних римлян, что там основались средь всяких козней в тревожное время».

Здесь воспроизводится древняя легенда о происхождении Флоренции, согласно которой Катилина после изгнания бежал во Фьезоле, откуда продолжал строить козни против республики. На его усмирение был послан легион, Катилина бежал дальше и погиб в битве. Но трения между фьезоланцами и римлянами не утихли, и это привело к гибели римского командующего Флорина. В воздаяние Фьезоле был разрушен, а на берегу Арно выстроен новый город – Флоренция, куда, однако, римляне приняли частично и бывших жителей Фьезоле¹. Таким образом, во флорентийцах смешалась кровь римлян и фьезоланцев, и дурное наследие соратников и союзников Катилины сказалось в заново разгоревшихся гражданских раздорах во времена Брунетто и Данте. «Злосчастнейшим племенем фьезоланцев» и варварами Данте называет флорентийцев и в своем знаменитом шестом Послании – в связи с сопротивлением флорентийцев императору.

В этих стихах «Комедии» следует обратить внимание на два момента: во-первых, история современной поэту Флоренции связывается с эпизодом раздоров внутри Римской империи, как бы отражая и продолжая их, а три смертельных греха имеют давнюю историю (фьезоланцы – «*gent' è avara, invidiosa e superba*»); во-вторых, природа Флоренции двойственна – в ней имеется как истинно римское, так и враждебное Риму «фьезоланское» начало. За современной Флоренцией просвечивает Рим времен заговора Катилины, два культурно-политических пространства накладываются друг на друга, и более древнее прорастает во втором.

Эта двойственность Флоренции отражается и в двойственности отношения Данте к городу. Во многом права Дж.М. Ферранте,

¹ Подробнее см. [Osmond, 2000].

указывая на то, что Флоренция является «адской» моделью общества, противопоставленного имперскому Риму как Граду Божьему [Ferrante, 2014, p. 47–49] и противодействующего ему. Действительно, большая часть флорентийских политических деятелей (без разбора партий – белые и черные гвельфы, гибеллины) оказываются в аду, даже те, о ком Данте говорит: «дорогие мне имена и дела ваши чту я» (Inf., 16:58). В XXIV и XXV песнях, где речь идет о ворах, фигурируют в основном флорентийцы, за исключением Ванни Фуччи – пистойца¹. Но в целом воры – соотечественники поэта, и это вызывает в начале следующей песни очередную саркастическую инвективу (Inf., 26:1–6), где, помимо прочего, говорится: «Ликуй, Флоренция, вот твое величье / Ты над землей и морем бьешь крылами, / Тебе и в пекле меж прочих отличие!» («Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande, / che per mare e per terra batti l'ali, / e per lo 'nferno tuo nome si spande!»).

Как установил А. Кьяппелли [Chiappelli, 1930], здесь Данте может намекать на высеченную на флорентийском Палаццо дель Подеста надпись (1255), в которой Флоренция называется городом, владеющим морем, землей и всем миром («*quae mare, quae terram, quae totum possidet orbem*»). Она вторит знаменитым словам Вергилия относительно римлян (Aen., 1:234–236), которые Данте цитирует в Монархии (Mon., 2:8:11). Но откуда у Флоренции крылья? Мы можем предположить, что образ крылатой Флоренции пародирует здесь римского имперского орла (Purg., 32:101–102; Par., 6:2–3, 35–36). И это предположение подкрепляется наличием пародийного элемента в предшествующей песни, где сгорающий и восстанавливающийся из пепла Ванни Фуччи уподобляется фениксу и становится, таким образом, пародией на Христа². Рим просвечивает сквозь Флоренцию и в саркастическом, даже пародийном, контексте.

Полный набор мотивов, отражающих негативное отношение к Флоренции, можно найти в дантовском послании жителям этого города (Ep., 6), написанном в связи с отказом Черных гвельфов, находившихся тогда у власти, подчиниться Генриху VII, и образованием гвельфской лиги. Данте называет флорентийцев «iugum

¹ Однако заметим, что Пистойя – тот самый город, где, по утверждению Виллани, после разгрома нашли прибежище сторонники Катилины.

² Такое толкование образа Ванни Фуччи предложено в [Ledda, 2012].

libertatis horrentes) – «боящимися ярма свободы» и предрекает несчастья, которые им предстоит претерпеть «за рабство» (pro servitute), противопоставляя Флоренцию Сагунту, испанскому городу, доблестно сопротивлявшемуся Ганнибалу.

Данте проводит параллели не только с римской, но и со Священной историей: флорентийцы именуются «новоявленными вавилонянами» («alteri Babilonii») и нечестивыми амаликитянами. Главным источником флорентийского греховного сопротивления богоустановленной императорской власти является, разумеется, все та же cupiditas. «Готовыми на любое преступление» их сделала ненасытная алчность, она их ослепляет и незрячих ведет в рабство. Но и два остальных греха упомянуты: ненависть – в риторическом вопросе, почему же флорентийцы не ненавидят папскую власть так же, как императорскую; гордость – когда говорится «superbissimi vestri sanguinis» (горделивейшая ваша кровь). Одновременно с этим утверждается общность Флоренции и Рима (имеется в виду, разумеется, Империя), поэт спрашивает соотечественников: Почему вы стремитесь создать новое правление (nova regna), как будто флорентийская гражданственность отличается от римской? («ut alia sit Florentina civilitas, alia sit Romana?»). Флоренция – змея, бросающаяся на материнское лоно; со змеиной жестокостью пытается она растерзать мать, точа мятежные рога на Рим, который создал ее по своему собственному образу и подобию.

Хотя в Лигу входили Съена, Перуджа, Болонья и Лука, мы не найдем таких же инвектив против жителей этих городов, и, возможно, не только потому что судьба Флоренции была ближе сердцу поэта, но и потому что в его мировидении она являлась эпитомой Италии греховной, Италии – жертвы, раздираемой распрями, а через нее и нестроений Империи в целом.

И все же Флоренция не всегда описывается в негативном ключе. Знаменитая речь предка Данте – Каччагвиды (Par., 15:97–148, 16:34–154) – повествует о том времени, когда «была готова / Цвести Флоренция в спокойствии тихом», когда «народ жил славно, гордая ж лилея / Поверженною не бывала лихом / И не томилась, в распрях багровея». В речи Каччагвиды Флоренция описывается как «маленький Рим» [Schnapp, 1986] в терминах распространенного еще в античности топоса о «старых добрых временах», когда процветал общественный «decorum», никто не позволял себе роскоши и излишеств, одобрялась простота обихода.

И персонажи средневековой Флоренции, не соответствующие этому идеалу, противопоставляются римлянам – Цинциннату и Корнелии, а история Флоренции настойчиво выводится из истории Рима. Но возможно ли восстановление такой Флоренции? Ее упадок Каччагвида связывает с приходом новых людей и подмесом к чистой крови другой – ущербной (Pag., 16:49), а также с разрастанием города в целом (Pag., 16:67). Но вернуть ничего нельзя: «Слышишь – мрут семьи; чему ж тут дивиться, / Когда в таком же гибельном упадке / Может и целый город очутиться! / Все ваше носит смерти отпечатки» (Pag., 16:76–79). Поэтому Данте суждено изгнание, и ему не стоит стремиться к возвращению во Флоренцию, напротив, ему следует обратиться к тому, кому суждено возродить Рим на новых основаниях (Pag., 17:76–90). Обрести родину невозможно, вернувшись в более несуществующий *locus amoenus*, замкнутый в древних стенах, но это осуществимо путем обращения к чему-то большему и высшему – Империи.

* * *

Обратимся теперь к Петрарке. Его имя нередко связывается с концепцией поэтического уединения, глубоким и насыщенным самоанализом, поглощенностью гуманистическими штудиями, такое мнение о нем освящено авторитетом Ф. де Санктиса. Между тем Петрарка исполнил за свою жизнь довольно много дипломатических миссий, а главное – он активно реагировал на политические перипетии своего времени и осмыслял их в трактатах и переписке с крупными политическими фигурами той эпохи. Трудности в интерпретации политической концепции Петрарки¹ основаны на «текучести его мнений, сложности и противоречивости характера, способности, подобно хамелеону, адаптироваться к окружению»

¹ Литература о политических взглядах Петрарки не столь обширна, как в случае Данте, но эту тему не обошли вниманием ни итальянские, ни отечественные ученые. Из важнейших источников последних лет можно назвать [Dotti, 2001; Petrarca politico, 2006]. На русском языке имеется не утратившая своей ценности работа начала XX в.: [Корелин, 1910]. Н.И. Девятайкина анализирует политические представления поэта в нескольких статьях преимущественно на материале трактата «О средствах против превратностей судьбы», но исключительно тонко и убедительно (см. [Девятайкина, 2010], а также другие работы автора).

[Bayley, 1942, p. 339], кроме того, его политические представления очевидным образом эволюционировали и в связи с его постоянной, глубокой рефлексией, ведущей к пересмотру фундаментальных для поэта духовных ценностей. Для целей настоящей статьи попробуем отрешиться от большей части сложностей и взглянуть на представления Петрарки о Риме и Италии в целом.

Петрарка, родившийся в Ареццо в семье флорентийца-изгнанника, детство проведший в Авиньоне, служивший миланским Висконти, пользовавшийся покровительством Роберта Неаполитанского и Карла IV, завершивший свой путь, будучи связанным с Падуей, считал себя римлянином. «Город, откуда я родом», – так он называет Рим в «Слове, читанном на Капитолии» и цитирует Вергилия, поясняя свой выбор между Парижем и Римом: «Верх одержала любовь к отечеству». Но что для Петрарки представлял собой Рим? Хотя современный поэту город был, подобно многим другим городам Италии, полем непрекращающихся раздоров между аристократическими семействами, столь выразительно описанным в 4–6 строфах канцоны «О благородный дух», по своей сути он остается Римом классических времен – сердцем Римской империи.

Однако в историческом плане для Петрарки в первую очередь значим Рим республиканский, точнее Рим того времени – экспансионистский, распространяющий свою власть на окружающее пространство. Главный, пусть и не заверченный, труд всей жизни Петрарки – эпическая поэма «Африка» – повествует о Второй пунической войне и ее главном герое и полководце Сципионе Африканском. Еще один труд о римской истории «О знаменитых мужах» заметно перекошен по составу в сторону республиканской истории. Но в целом Петрарке не так уж важно, на каких началах будет организовано общество: он с энтузиазмом поддерживает республиканский по существу проект Кола ди Риенцо и с равным пылом призывает Карла IV восстановить «*la più nobil monarchia*» в канцоне «О благородный дух» («*Spirto gentil*»)¹. Зато ему важны

¹ Относительно адресата этой канцоны (кто, собственно, обладатель этого «благородного духа») высказывались разные мнения. Ранние комментаторы, а также Дж. Леопарди и Ф. де Санктис относили ее к Кола ди Риенцо, впоследствии адресатами назывались различные сенаторы, поскольку папа Бенедикт XII даровал городу Риму право на выборы Сената (см. обзор версий в [Phelps, 1925, p. 49–65]). Однако А.М. Вочи сопоставлением лексических оборотов канцоны и

величие и слава Рима, которые завоевывались в первую очередь в ратных трудах преимущественно республиканского времени: «Марсов народ должен вновь обратиться к своей славе («l'popol di Marte / dovesse al proprio honore alzar mai gli occhi» – «Spirito gentil»).

Как и у Данте, у Петрарки римляне – не только предки тех, кто сейчас населяет Италию, но и значимые для настоящего фигуры. Однако для Петрарки они почти живые собеседники, которым он пишет письма, с которыми соглашается или спорит¹. Так, например, Цицерон отчасти разочаровывает его своими слабостью характера и непоследовательностью (Fam., 24:3). В другом письме он пересказывает свой разговор с неким стариком, который называл Цицерона богом (и только «спохватившись» уточнил: богом красноречия), а сам Петрарка отстаивал идею, что Цицерон, будучи человеком, мог ошибаться (Fam., 24:2). Стоит сравнить это отношение с дантовским – к Катону Утическому, и разница заключается не в степени восхищения двумя персонажами римской истории. Хотя, как убедительно показала М. Каррутерс, средневековые герменевтические подходы не были чужды Петрарке [Carruthers, 2008, p. 236–237 et al.], тем не менее идея, что древний римлянин может означать собой Бога, несомненно, лежит за пределами его восприятия истории. У Данте римляне – скорее, знаки, «означающие» для некоторого, пусть нередко комплексного, как например в случае с Вергилием, означаемого: какого-либо качества – добродетели или порока, какой-либо роли (поэта-пророка – Вергилий или Стаций, возмутителя общественного спокойствия – Катилина, мудрого старца – Катон Старший и т.п.). Петрарка, осознавая историческую дистанцию, сглаживает ее – в том числе посредством игр со временем [Eisner, 2014], для Данте дистанция – не временная, а смысловая.

В отличие от Данте, мыслившего имперский проект как всемирный, для Петрарки он приобретает национальную окраску, хотя и особого рода. Как известно, Петрарка вел переписку с Карлом IV –

посланий Петрарки убедительно показала, что ее адресатом является Карл IV [Voci, 1979].

¹ Н.И. Девятайкина глубоко проанализировала эту позицию поэта по отношению к древним на примере диалогического трактата «О средствах против превратностей судьбы» [Девятайкина, 2010].

императором Священной Римской империи, рассчитывая на его активные действия по установлению мира в Италии, и даже провел некоторое время при его дворе в Праге. Отношение Петрарки к Карлу менялось в связи с его политикой в итальянских делах, но существенным моментом всегда оставалось то, что концепт *translatio imperii* (перехода «империя» от римлян к другим народам) для Петрарки неприемлем. Римская империя должна иметь своим центром город Рим, император должен быть римлянином. «Если Римская империя не в Риме, то, спрашиваю, где она? Действительно, если она в другом месте, то она не Римская империя <...> Такого воистину никогда не может случиться, чтобы Римская империя находилась где-то, кроме Рима, ибо как только она станет в другом месте, перестанет быть римской»¹.

Сознавая происхождение Карла (Люксембург по отцу и Пржемыслид по матери), Петрарка тем не менее называл его итальянцем: «*te enim ut libet sibi Germani vendicent, nos te italicum arbitramur*» (Fam. 10: 1:10). Новую родину Карл обрел мистическим образом, переродившись во время коронации: «Тот край, который ты называешь родиной, был ей когда-то, но более ей не является — с тех пор, как ты взошел на имперский трон: ты получил одну родину, когда родился, и получил другую — когда был рожден вновь»². А если Карл забывает об Италии, то это превращает его обратно в короля германцев («*rex theutonicus poterit esse, romanus esse non poterit imperator*» — Fam., 15:5:7). Обратим внимание на расхождение с Данте, хотя тот и называл Люксембурга — Генриха VII — преемником Цезаря и Августа, относил к нему пророчество о «кесаре Троянского рода», но нигде речь не идет о том, что он каким-то таинственным образом стал итальянцем.

У Петрарки Италия иногда сливается с Римской империей как таковой, во всей ее целостности. Почти полное тождество между этими пространствами мы наблюдаем в канцоне «О благород-

¹ («*Si imperium Romanum Romae non est, ubi, quaeso, est? Nempe si alibi est, iam Romanorum imperium non est <...> Illud profecto nunquam poterit efficere, ut romanum imperium alibi sit quam Rome: simul enim alibi esse ceperit, desinet esse romanum*» — Sine nomine, 4).

² «*Quid, quod hec ipsa, quam tuam dicis, fuit quidem sed iam non patria tua est, ex quo primum ad imperium pervenisti, aliamque nascendo atque aliam renascendo patriam es adeptus*» (Fam. 23: 2:32).

ный дух», где речь идет преимущественно об Риме, но в то же время и об Италии.

Italia, che suoi guai non par che senta:
vecchia, otiosa et lenta,
dormirà sempre, et non fia chi la svegli?

В этих строках именно Италия, а не Рим уподобляется ленивой, дремлющей старухе, не осознающей своих бед. Именно ее предстоит разбудить адресату канцоны-послания, о котором говорится: «Тебе ныне доверена наша глава – Рим» («è or commesso il nostro capo Roma»), – а затем Петрарка требует оттащить старуху за волосы, тем самым пробудив ее и вытащив из грязи. В этой развернутой метафоре можно было бы счесть Рим головой старухи-Италии, однако дальнейший дискурс свидетельствует о едином референте у этих двух слов: в следующих строках уже именно Рим представляется в образе женщины. Она взывает к своему отцу и супругу о восстановлении «благороднейшей монархии». И при известии о свершении этого Фабриций скажет: «Мой Рим снова станет прекрасен» («Roma mia sarà anchor bella»), а Брут и Сципионы¹ возрадуются тому, что имперский долг нашел своего истинного носителя. В прозаических текстах Петрарка в одних местах называет головой империи (и мира) Италию в целом (Fam., 15:5:7; 10:1:7), а в других – Рим (см., например, Vit. sol., 2:1, 9). А временами «наша земля» (nostrum orbis) вообще выходит за границы не только Италии, но и реальной Священной Римской империи: «Венеция и Париж среди всех городов нашей земли казались самыми надежными – та крепость Италии, тот – заальпийская твердыня» (Fam., 15:7:16).

Такое слияние пространств и времен было бы похоже на то, что мы видим у Данте, если бы не один нюанс. Италия у Петрарки, как и когда-то Рим, окружена варварами. Разумеется, степень неприятия иноплеменников у Петрарки варьируется – в зависимости от перипетий имперской политики он может говорить о «германской ярости» (la tedesca rabbia) и вспоминать Гая Мария, разгромившего тевтонов, но может и принять титул имперского графа в

¹ Стоит обратить внимание на то, что восстановлению монархии радуются Луций Юний Брут – один из основателей республики – и Сципионы – ее защитники.

Праге. Тем не менее понятие варварства у него встречается весьма часто – не только в историческом, но и в современном контексте. Так, в переписке по поводу венецианско-генуэзской войны Петрарка осуждает властителей, прибегающих к помощи «варварских королей» – для того, чтобы раздрать тело общей матери (Fam., 11:8:28; 14:5:11; 18:16:5). В метрическом послании к Энею Толомеи поэт сокрушается: «Nos vilia busta / Barbaricis pedibus iam iam calcanda superbis / Expectant» (Ep. metr., 1:3). Альпы, по его мнению, – естественная, воздвигнутая Богом, преграда против варваров: кимвров, гуннов, паннонов, галлов, тевтонов, испанцев (Fam., 11:8:31). В «Инвективе против того, кто хулит Италию» Петрарка постоянно упрекает оппонента в принадлежности «варварам»-галлам¹. В другом месте к числу варваров отнесены византийцы и Педро Арагонский (Fam., 14:5:12). Исторические эпохи окончательно сливаются, языческие варвары и христианские соседи идут в этом перечне через запятую. И в целом для Петрарки варвары – чужие, враги Италии, в отличие от Данте, признававшего в самих итальянцах наличие варварской крови, но призывавшего освободиться от нее, как, впрочем, и от крови Катилины, чистейшего римлянина по происхождению, но действовавшего против порядка и мира.

Но, разумеется, тема раздоров внутри Италии («священная страна охвачена резнею без всяких оснований для резни» – «Италия моя») необычайно важна и для Петрарки. Его увлеченность Кола ди Риенцо во многом следствие того, что тот смог положить конец распре между аристократическими семействами в Вечном городе. Призывы к миру постоянно возникают и в посланиях, и в политических стихах, стоит напомнить лишь знаменитое завершение канцоны «Италия моя»: «Io vado gridando: Pace, pace, pace» («Иду, взывая: Мира, мира, мира!»). А «высочайшая и важнейшая задача» императора – «принести мир на итальянскую землю» (Fam., 10:1:13).

И в реальной действительности Петрарка приложил большие усилия (по поручению Висконти) к примирению Венеции и Генуи в войне 1350–1355 гг. Однако любопытен один из аспектов его аргументации: Венеция нападает на Геную, между тем этот город

¹ Инвектива направлена против Жана де Исдэна, критиковавшего Петрарку за призыв вернуть папский престол в Рим.

способен поднять оружие в случае нападения внешнего врага (Fam., 11:8:17). И вообще, в венецианско-генуэзской войне Петрарку больше всего угнетает, что проливается лишь итальянская кровь (Fam., 11:8:15). А. Ли предпринял внимательный анализ взглядов Петрарки на войну и мир [Lee, 2013], показав, что в целом поэт старается следовать доктрине бл. Августина о справедливой войне как борьбе с алчностью (*cupiditas*) и ненавистью (*invidia*), войне за установление мира, имеющего духовное основание. Вместе с тем нельзя не заметить, что это касается преимущественно войны между итальянцами. Сама концепция обновления Рима все время подталкивает Петрарку к другому – цicerоновскому пониманию, в рамках которого целью справедливой войны может быть приобретение славы и распространение римского порядка на окружающее пространство (*De officiis*, 1:12:38; *De republica*, 3:15:24)¹. Петрарка постоянно призывает к миру, мир, казалось бы, – единственное, чего он жаждет², однако это мир – внутренний, итальянский. По мнению поэта, вместо ведения братоубийственной войны Венеции и Генуе стоит объединиться, чтобы сокрушить морскую мощь Византии, бесчестной империи, средоточия ошибок («*infame illud imperium sedemque illam errorum*» – Fam., 14:5:12). Это станет благочестивой, справедливой и воистинно итальянской войной (Fam., 14:6:1), которая заставит варваров (византийцев и Педро Арагонского) признать, что они по глупости предприняли низкую и подлую войну против справедливости (Fam., 14:6:7).

Политическая программа Петрарки основана на трех китах: *renovatio Romae*, *renovatio Italiae*, *renovatio imperii* [Bailey, 1942; ср. Корелин, 1910, с. 59], но они немыслимы по отдельности, поскольку эти три культурные и политические пространства в сознании Петрарки почти сливаются, по крайней мере накладываются друг на друга, одно постоянно просвечивает сквозь другое. И связанные с ними деятели также теряют свою определенность, теряют свое значение на фоне общего смысла обновления этой нераздель-

¹ Ч. Бейли тонко подметил [Bailey, 1942, p. 333], что у Петрарки имелась теория об упадке государств и людей как следствии бездеятельности (Fam., 23:2:9; 12:2:6). И она тоже лучше согласуется с цicerоновской, а не августиновской концепцией войны.

² Хорошая подборка его высказываний имеется в [Lee, 2018, p. 90 et al.].

ной триады. Как отметил Й. Спичка, Петрарке совершенно неважно, что Италия не принимает участия в выборах императора [Spicka, 2010, p. 546], хотя он называет народ и Сенат Рима – источниками императорской власти (*Sine nom.*, 17). Долгожданнами супругами Рима – страждущей жены – становится то папа¹, то Карл IV, то Кола ди Риенцо, от них ожидает Петрарка мира и обновления, но временами аналогичные надежды возлагаются им на Роберта Неаполитанского, миланских Висконти. И дело здесь не в том, что Петрарка сообразует свои политические чаяния с жизненными обстоятельствами. По сути дела, все эти политические фигуры – инструменты, и даже имперская идея – инструмент, в отличие от Данте, для которого империя философски и духовно обоснована. Петрарка жаждет великого культурного и политического пространства, достойного его личности, соизмеримого с ним², где он мог бы полностью реализовать свой потенциал поэта.

А роль поэта – сохранение в памяти людей великих деяний, его собственная слава становится инструментом и в то же время следствием достижения этой цели. «Могучие воинственные или чем-либо еще заслужившие неувядающей славы люди ушли в забвение потому, что некому оказалось поведать о них», «они не могли вверить свои чувства и мысли непреходящему и надежному стилю опытного писателя». Именно по этой причине другие «держали при себе поэтов в великой чести, чтобы было кому пропеть о них потомкам» (*Coll. laur.*, 10:9, 11, 13) [Петрарка, 1982, с. 45–46]. В IX книге «Африки» Энний, опираясь на сонное видение, в котором ему явился Гомер, предсказывает Сципиону, что некогда появится тот, кто воспоеет его великие деяния, т.е. Петрарка (*Afr.*, 9:222–236): «Будет он зваться Франциск и всех величье свершений, / коим свидетель ты был, как будто в единое тело / он соединит» [Петрарка, 1992, с. 160]. В этом же ряду следует воспринимать также издание Ливия Петраркой, коронацию поэта в Риме в 1341 г., и недаром в формулировке привилегий лауреата Петрарка увенчан как поэт и историк.

¹ Прекрасен также призыв к папе Урбану V сравняться славой с Ромулом, Брутом, Камиллом (*Sen.*, 9:1).

² И это не проявление самомнения, Петрарка, действительно, был одним из крупнейших, если не крупнейшим, культурным авторитетом своего времени. Выразительное описание его положения см. в [Корелин, 1910, с. 41–46].

Однако этот комплекс идей, построенный вокруг концепта славы, не очень хорошо согласуется с христианскими ценностями, и по мере углубления самоанализа Петрарки такое противоречие не могло не привести пусть не к разочарованию в римской идее, но к ее переосмыслению. «Африка» – поэма о восхождении Рима к мировому господству, своего рода идеальная модель для ущербного настоящего, по крайней мере, она таковой замышлялась. И в известной степени она параллельна желанию славы у поэта, который стремится увековечить этот идеальный образец. Но с христианской точки зрения, и то, и другое – воплощение греховного *vanitas*. Поэтому в третьей беседе «Моей Тайны» Августин прямо советует Франциску: «Сбрось с себя тяжелые व्यюки истории: подвиги римлян достаточно превознесены... Оставь Африку ее владельцам; ты не прибавишь славы ни своему Сципиону, ни себе... откажись от всего этого, верни себе наконец самого себя» [Петрарка, 2011, с. 137].

Хотя этому благочестивому совету Петрарка так и не последовал, концепция *vanitas* все сильнее окрашивает его политические взгляды. Это сказалось и в самой «Африке», структуру и тематический фундамент которой Петрарка постоянно перерабатывал. Ее важнейшим элементом становится Сон Сципиона, в котором отец полководца предсказывает как судьбу самого Сципиона (изгнание, навечное отлучение от войн и от воинств), так и упадок Рима (Aft. 2:299–326): «...отнюдь не воинством вражьи́м / Рим сокрушится – подобная честь никакому народу / в славу не будет дана! – нет, годы его одолеют, / мало-помалу он станет стареть и от немощи дряхлой / сам рассыплется в прах» [Петрарка, 1992, с. 28].

И постепенно идеи «тройственного обновления», политическая активность, стремление к славе начинают уступать место чему-то иному. Это чувствуется во многих текстах Петрарки, поначалу преимущественно в связи с темой изменчивой и безжалостной Фортуны. Однако уже в «О монашеском досуге» («De otio religioso»), написанном между 1347–1357 гг., он говорит о том, что слава, доблесть, богатство, все, чего ищут люди, теряется в смерти и потому не существенно. В трактате «О средствах против превратностей судьбы» («De remediis utriusque fortunae», 1354–1366) в подглавке «О славе» он пишет: «Если подумать о быстротечности времени и малости пределов нашей известности, то ты

со согласишься, что на земле нельзя достичь великой славы» [Петрарка, 1998, с. 183–184].

В 1370 г. Петрарка поселяется недалеко от Падуи и переходит под патронат падуанского властителя Франческо да Каррара (1375–1393). К Франческо обращено одно из посланий Петрарки, по жанру напоминающее «зерцало князей», наставление властителям (Sen., 14:1). Франческо не представлял собой тот идеал, который Петрарка лелеял ранее: как историческая фигура он, конечно, несравним ни с Карлом IV, ни с Висконти, ни, пожалуй, даже с Кола ди Риенцо. Франческо занимался своими падуанскими делами, не помышляя об общеитальянской политике, враждовал с соседней Венецией, поднимал налоги, но вместе с тем поощрял искусства и науку. Обращаясь к властителю Падуи, Петрарка принимает роль не поэта, воспевающего его деяния, а мудрого советчика, опирающегося на исторический опыт. Он, разумеется, приводит примеры из римской истории, но теперь – в виде практических рекомендаций: следует правильно выбирать себе советчиков, придерживаться скромности в одежде и неформального тона в общении, заниматься благоустройством города и поддерживать науки и искусства. И в завершение всего крик души – убрать наконец свинные стада с центральных улиц (Sen., 14:1:18). По сравнению с возрождением римской славы – это вполне реалистичное пожелание.

* * *

Чаяния Данте и Петрарки увидеть единую Италию – царицу мира или главу империи – не осуществились. Их литературный наследник – Джованни Боккаччо – уже не питал никаких имперских устремлений. Его деятельность была ограничена пределами флорентийской коммуны по преимуществу, хотя в юности он провел некоторое время при дворе Неаполитанского короля и сохранил с ним связи. Вернувшись во Флоренцию, где вел дела его отец, он занимал должности, включая весьма высокие, в казначействе, участвовал в посольствах и сам выступал в роли посла. И в каком-то смысле это являлось очень «римским» отношением к долгу перед родиной – «исполнением магистратур», в этом смысле Боккаччо – добросовестный участник *res publica*.

Однако его отношение к римскому прошлому спокойное и в известной мере отстраненное, он смотрит на Рим с временной дистанции – как гуманист-историк. В «Генеалогии языческих богов» Боккаччо прямо говорит о том, что пытается реконструировать сознание древнего человека посредством своего рода «исторической дедукции, раскрывающей исходные психологические и социологические причины, стоящие за созданием мифа» [Lumtus, 2012 a, p. 740]. В отличие от Петрарки, который видел в Риме кульминацию развития западной цивилизации, а отношение греков и римлян мыслил как соревнование, в котором побеждают последние (Sen., 12:2), Боккаччо указывает на производный характер латинской культуры, называя греческую источником (fons), из которого берет начало римский «ручей» (rivulus) (Gen. deorum, 15:7) и рисует картину культурной трансмиссии, делая античных авторов (auctores) взаимозависимыми, релятивизируя их авторитет и таким образом занимая весьма модернистскую позицию. В петрарковском проекте *renovatio Romae* создавался идеальный образ, основанный на личном отношении к древним и поэтому ставший скорее порождением памяти поэта, вытесняющим представление и о современном ему, и об античном Риме. Боккаччо же нашел античной культуре новое место в современном ему мире, где прошлое и настоящее составляют живую цивилизацию Флоренции – не возвышенного образа, существующего в памяти и воображении, а реального города [Lumtus, 2012 b].

Главным делом своей жизни он видел не воскрешение Рима, а превращение Флоренции в важнейший культурный центр. И в исполнении этого замысла фигуры Петрарки и Данте играют важнейшую роль. Для Боккаччо они оба – флорентийцы, гордость Флоренции, «самого благородного города среди всех итальянских» (*Vita di Dante*, 1), великого, прекраснейшего из всех итальянских городов, как говорится во вступлении к «Декамерону». Но его величие связано не с политикой: Флоренция – место, где должны процветать поэзия и науки. На политические перипетии в городе Боккаччо смотрит весьма спокойно, хотя и сам становился жертвой нестроений, однажды ему даже пришлось на какое-то время перебраться в Равенну.

Однако это не касается вопроса об изгнании Данте. Единственный раз, когда Боккаччо позволяет себе настоящую инвективу против родного города, это происходит в «Жизни Данте». Боккач-

что вообще возвеличивает значимость поэта для Флоренции, тогда как на самом деле тот всего лишь один раз в течение короткого срока исполнял роль одного из городских приоров. Но Боккаччо видит это так: «...если случалась надобность... решиться на какой-нибудь важный шаг, правители прежде всего испрашивали мнение Данте. Казалось, Флоренция только ему и верит, только на него и надеется, ему одному препоручает попечение о своем духовном и земном благоденствии» [Боккаччо, 1975, с. 534]. И сам поэт настолько предан своей отчизне, что «хотя слава Данте была такова, что стоило ему сказать слово, и его где угодно увенчали бы лаврами... он хотел принять их лишь во Флоренции, все ждал, когда же ему можно будет вернуться на родину» [там же, с. 549].

Смещает акценты Боккаччо, и затрагивая вопрос об имперских устремлениях поэта. «Монархии» посвящена половина абзаца, а причина возникновения монархических идей поэта сводится к его обиде на родину: «...изгнали его не гибеллины, а сами же гвельфы, и вот, когда Данте увидел, что ему нет возврата на родину, его образ мыслей так круто переменялся, что он возненавидел гвельфов и сделался самым рьяным сторонником гибеллинов» [там же, с. 559]. Послание Данте Генриху VII толкуется в том же духе: Данте хочет вернуться на родину и поэтому уговаривает императора «снять осаду с Брешии и все силы бросить на Флоренцию» [там же, с. 538].

Смерть Данте в изгнании вызывает негодование Боккаччо и заставляет его забыть о своем коммунальном патриотизме. XVIII глава озаглавлена «Инвектива против флорентийцев», и в ней Боккаччо если и не поднимается до высот дантовского гнева, то по крайней мере приближается к ним: «О неблагодарная отчизна, скажи, в приступе какого помешательства или умоисступления осмелилась ты с такой неслыханной жестокостью изгнать из своих пределов бесценнейшего своего гражданина, величайшего своего благотворителя, несравненнейшего своего поэта?» «Слыхано ли, чтобы матери была ненавистна добродетель ее собственного сына? Какой небывалый грех!» Заметим, что сам Данте не называл себя сыном Флоренции, его отношение к городу было сложнее. Однако Боккаччо утверждает: «...в ответ на неблагодарность, на преследования он платил тебе сыновней почтительностью», — опираясь всего лишь на тот факт, что Данте продолжал именовать себя флорентийцем» [там же, с. 542, 544].

Вернуть Данте во Флоренцию в реальной действительности у Боккаччо возможности не было, но он приложил все силы, чтобы вернуть его туда символически. Одним из важнейших предприятий, которое он затеял незадолго до кончины, уже через силу, преодолевая болезнь, стали публичные лекции о «Комедии», прочитанные им за два года до смерти по поручению флорентийской Коммуны в церкви Св. Стефана с октября 1373 по январь 1374 г. И этот проект, хоть и оборвавшийся по причине смерти Боккаччо, увенчался ошеломительной победой: лекции не только имели успех, но и положили начало традиции публичного изъяснения «Комедии», поддерживаемой во Флоренции в течение долгих лет (среди лекторов, например, был Кристофоро Ландино – уже в следующем столетии). В каком-то смысле Боккаччо действительно вернул Данте на родину – только после смерти поэта.

А с Петраркой, который происходил из семьи флорентийца-изгнанника, у него имелись шансы и в реальности, и Боккаччо постарался их использовать. Как известно, поэты были знакомы, их первая встреча состоялась в 1350 г., и Боккаччо воспылал надеждой убедить Петрарку переехать во Флоренцию. Поэтому весной 1351 г. Боккаччо по поручению Синьории (но, судя по всему, инициатива была именно его) пишет поэту приглашение стать первым *magister* флорентийского *Studio* (университета), сопровождающееся гарантией возврата отцовского наследства. Это письмо он лично доставил Петрарке, но на пути реализации этого замысла возникло неожиданное препятствие – Петрарка отказался (*Fam.*, 11:5). За этим отказом стояла не только обида и практические жизненные обстоятельства, но, возможно, и нежелание брать на себя конкретные обязательства по отношению к коммуне, стремление сохранить духовную и поэтическую свободу. Разочарование Боккаччо еще более усилилось, когда из следующего письма (*Fam.*, 11:6) он узнал о планах старшего друга вернуться в Авиньон. Боккаччо пишет ответ (*Ep.*, 10), в котором под видом пасторального текста критикует отказ Петрарки принять на себя гражданскую и просветительскую роль во Флоренции [Houston, 2012]¹.

¹ Л. Хупер дает интересный анализ отказа Петрарки вернуться во Флоренцию в контексте общих его представлений о роли поэта, однако несколько переоценивая искренность и постоянство стремления Петрарки удалиться от политических и коммунальных дел [Hooper, 2016].

Однако выстраивание образов двух поэтов-флорентийцев для Боккаччо являлось частью практической реализации более глобальной цели. Флоренция была для него ядром более широкой мыслительной конструкции – Италии как целого, объединенного языком и литературой – не латинской, а новой, итальянской, которой, однако, на тот момент еще не существовало. И Боккаччо начинает ее создавать – но в куда более практическом духе, чем Данте, конструировавший *volgare illustre* в трактате «О народном красноречии». И если Данте видел себя в космической, вселенской перспективе, своего рода «писцом Бога» (Par., 10:27), то Боккаччо становится писцом в самом обычном смысле слова: он сам создает манускрипты (до нас дошло 16 рукописей, созданных его рукой). Но за этой, казалось бы, сугубо практической деятельностью стоит цель легитимизации поэзии на *volgare* и создание итальянского канона. Мартин Эйсер [Eisner, 2013] показывает, что ключевым моментом в конструировании итальянской литературы стало составление Киджианского кодекса (Chigi L V 176), включающего произведения Данте, Петрарки, Кавальканти и самого Боккаччо. Он использует самые разнообразные средства, чтобы поднять статус текстов на *volgare*, сделать их равными классическим, притом что большая их часть – любовная лирика, которая в те времена к роду поэзии не относилась, проходя в восприятии большинства интеллектуалов по ведомству риторики. Именно Боккаччо стоит у истоков представления о том, что центральным произведением в наследии Петрарки является «Канцоньере», между тем как сам автор долгое время считал его юношеской слабостью, впрочем, под конец жизни все же несколько изменив отношение к сборнику – возможно, под влиянием младшего друга.

Боккаччо манипулирует материальной формой представления текстов, вносит в них редакторскую правку, включая серьезную – например, в композицию «Новой жизни», создавая образы великих основоположников итальянской поэзии. Но при этом он, конечно, осознает разницу между ними. Так, жанровые модели написанных Боккаччо биографий поэтов различны и в целом соответствуют общему духу их творчества. «Жизнь Данте» – довольно странное сочинение: в нем соседствуют разнородные элементы – от инвективы до занимательных или забавных историй, от философских отступлений до традиционных, в духе Светония, описаний характера, внешности, воспитания, от реальных биографиче-

ских фактов до агиографических и христологических мотивов (чудесное обретение рукописи последних песен «Рая» и сон о павлине, увиденный матерью поэта). «Жизнь Данте» – *summa* того, что Боккаччо хочет сказать по поводу поэта, подобно тому, как своего рода «суммой» являлась «Комедия». А «Жизнь Петрарки» построена более традиционно – по античному образцу (и написана на латыни), представляя собой характерный образец эпидейктического риторического сочинения.

Данте и Петрарка в реальности очень сильно различались между собой, и аналитический ум Боккаччо, столь ярко проявившийся в «Генеалогии языческих богов», не мог не отметить этот факт (Боккаччо временами делает тонкие замечания о разнице в их подходах к поэзии). Однако Боккаччо требовалось создать впечатление единого корня, истока итальянской литературы, и он «реализует собственный культурный проект по примирению Данте и Петрарки» [Marzano, 2016, p. 2], выступая в качестве связующего звена. Петрарка, как известно, относился к своему великому предшественнику скептически и даже утверждал, что не читал «Комедии», тогда Боккаччо дарит ему манускрипт поэмы (правда, не собственноручно переписанный), и это – серьезный подарок по тем временам. Он сопровождает его своим метрическим посланием «*Ūtalie iam certus honos...*», где с самого начала заявляет, что адресат – Петрарка – несомненная слава Италии, а далее как бы представляет ему «Комедию» – несравненную, не имеющую аналогов в прошлом, изобилующую высокими смыслами, но знаменитую не только между учеными людьми, но и среди простого народа. В послании дается несколько смягченная версия жизни Данте: его изгнание приписывается вероломству Фортуны, роль флорентийской коммуны обходится стороной. А. Пьячентини высказывает обоснованную гипотезу, что подобная фигура умолчания связана с конкретными жизненными обстоятельствами – если послание и дарение манускрипта имели место тогда же, когда разворачивался сюжет с приглашением Петрарке вернуться, то желание обойти скользкий вопрос понятно [Piacentini, 2014, p. 213–216]. Возможно, однако, что здесь присутствует и второй план: стихотворение выводит обоих авторов за пределы коммунального мира, не случайно в первом стихе говорится об Италии, а не Флоренции, а ближе к концу – о Лации, и завершается послание словами «*decus Urbis et orbis*» – «краса Города и мира». У Боккаччо здесь проис-

ходит то же, что у обоих поэтов – Флоренция, Рим, древность (в которой уже не различаются Рим и Греция) сливаются.

Однако когда Боккаччо пишет об упадке, переживаемом итальянским миром, он имеет в виду не политические раздоры, а упадок поэзии и науки, «изгнание из Италии муз» (*Vita di Dante*, 1). Поэтому и его программа *renovatio* – не политическая, а поэтическая, и, в отличие от Генриха VII и Карла IV, те, на кого возложил долг обновления Боккаччо, смогли его исполнить: Данте «пробудил дремлющих Муз и вернул кифару Аполлону», он смог принести в Италию понимание поэзии, Петрарка вновь утвердил Муз на их исконном месте – у Геликона, Феба – в его священной пещере, он вернул им их прежнюю красоту, очистил от налета грубости и «многих подвиг на то, чтобы взойти на недоступную вершину Парнаса» (Ер. XIX). В конечном счете Боккаччо создает новый миф – об Италии как поэтической традиции, у истоков которой стоят два гения.

* * *

История об Италии, Риме и Флоренции в трудах Данте, Петрарки и Боккаччо – это во многом история о поиске поэтами идентичности – для себя и своей родины. Дантовские и петрарковские мотивы и идеи не раз воскресали в том или ином виде на протяжении следующих столетий в политической судьбе Италии. Однако и Наполеон, и Габсбурги, и Муссолини, и итальянские колонии канули в прошлое. Вполне возможно, что это случится и с единым национальным государством. Но что, несомненно, останется, какой бы ни была судьба Италии, – это великая итальянская поэзия. В конце XX в. выдающийся итальянский поэт Андреа Дзандзотто сказал: «Италия на протяжении веков воспринимала собственное единство как совокупность текстов, которую Рисорджemento попыталось перевести в нечто иное. Очевидно, что его попытка не слишком удалась» [Zanzotto, 1991, p. 314]. Но, может быть, просто совокупность текстов и есть наиболее здоровый и достижимый метод формирования идентичности народа?

Список литературы

- Алигьери Д. Божественная Комедия / Пер. Илюшина А.А. – М.: МГУ, 1995. – 800 с.
- Алигьери Д. Малые произведения. – М.: Наука, 1968. – 652 с.
- Боккаччо Дж. Малые произведения. – Л.: Художественная литература, 1975. – 608 с.
- Девятайкина Н.И. Античное прошлое как актуальная современность у Петрарки // *Cursor Mundi: Человек Античности, Средневековья и Возрождения*. – Иваново, 2010. – № 3. – С. 76–89.
- Корелин М.С. Петрарка как политик // Корелин М.С. Очерки итальянского Возрождения. – М.: Типография А.Л. Поплавского, 1910. – С. 35–113.
- Петрарка Ф. Африка / Изд. подгот. Рабинович Е.Г., Гаспаров М.Л. – М.: Наука, 1992. – 368 с.
- Петрарка Ф. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру / Пер. с лат. М.О. Гершензона. – 2-е изд. – М.: URSS, 2011. – 143 с.
- Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические. – М.: РОССПЭН, 1998. – 477 с.
- Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. – М.: Искусство, 1982. – 367 с.
- Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – СПб.: Алетейя, 2003. – 254 с.
- Alighieri D. Convivio / Ed. di Brambilla Ageno F. – Firenze: Le Lettere, 1995. – Vol. 1–2. – (Le opere di Dante Alighieri: Edizione nazionale a cura della Società dantesca italiana; Pt. 3).
- Alighieri D. De vulgari eloquentia; Monarchia / A cura di Mengaldo P.V., Nardi B. – Milano: Ricciardi, 1996 a. – 503 p. – (Opere minori di Dante Alighieri; Pt. 3.1).
- Alighieri D. Epistole; Egloge; Questio de aqua et terra / A cura di Frugoni A. – Milano: Ricciardi, 1996 b. – 543 p. – (Opere minori di Dante Alighieri; Pt. 3.2).
- Alighieri D. La Commedia: secondo l'antica vulgata / a cura di Giorgio Petrocchi. – Firenze: Le lettere, 1994. – Vol. 1–4. – (Le opere di Dante Alighieri: Edizione nazionale a cura della Società dantesca italiana; Pt. 7).
- Bayley C.C. Petrarch, Charles IV, and the «Renovatio Imperii» // *Speculum*. – Cambridge (Mass.); Chicago: Cambridge univ. press: Chicago univ. press, 1942. – Vol. 17, N 3. – P. 323–341.
- Boccaccio G. Tutte le opere di Giovanni Boccaccio / A cura di Branca V. – Milano: Mondadori, 1974. – Vol. 5.1: Rime. Carmina. Epistole e lettere. Vite. De Canaria. – 992 p.
- Brunetti F. Manipolazione e trasfigurazione di una celebre frase metternichiana «L'Italia è un'espressione geografica» // *Nuova antologia*. – Firenze, 2005. – N 2236. – P. 349–355.
- Carducci G. Presso la tomba di Francesco Petrarca in Arquà // Carducci G. Opere. – Bologna: Zanichelli, 1935. – Vol. 7: Discorsi letterari e storici. – P. 329–355. – (Edizione Nazionale delle Opere di Giosuè Carducci).
- Carruthers M. The book of memory: A study of memory in medieval culture. – 2 nd ed. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2008. – xvi, 519 p.

- Chiappelli A.* Un ricordo, non avvertito, della 'Firenze antica' nella Divina Commedia // Il Marzocco. – Firenze, 1930. – 23.11. – P. 3.
- Consoli D.* Franchezza // Enciclopedia dantesca. – Roma: Istituto della enciclopedia italiana, 1971. – Vol. 3. – P. 27.
- Costa-Zalessow N.* Italy as a victim: A historical appraisal of a literary theme // Italica. – Menasha, 1968. – Vol. 45, N 2. – P. 216–240.
- Costa-Zalessow N.* The personification of Italy from Dante through the Trecento // Italica. – Menasha, 1991. – Vol. 68, N 3. – P. 316–331.
- D'Entrèves A.P.* Dante as a political thinker. – Oxford: Clarendon press, 1952. – vi, 119 p.
- Davis C.T.* [Review of Dante and the Empire] // Speculum. – Cambridge (Mass.); Chicago, 1990. – Vol. 65, N 3. – P. 722–724. – Rev. of: Mancusi-Ungaro D. Dante and the Empire. – New York: P. Lang, 1987.
- Davis C.T.* Dante and the Empire // The Cambridge companion to Dante / Ed. by Jacob R. – Cambridge [etc.]: Cambridge univ. press, 2007. – P. 257–269.
- Davis C.T.* Dante and the idea of Rome. – Oxford; London: Clarendon press: Oxford univ. press, 1957. – 302 p.
- Dotti U.* Petrarca civile. – Roma: Donzelli, 2001. – 204 p.
- Eisner M.* Boccaccio and the invention of Italian literature: Dante, Petrarch, Cavalcanti, and the authority of the vernacular. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – XIV, 243 p.
- Eisner M.* In the labyrinth of the library: Petrarch's Cicero, Dante's Virgil, and the historiography of the Renaissance // Renaissance quarterly. – Chicago; N.Y.: Chicago univ. press: Cambridge univ. press, 2014. – Vol. 67, N 3. – P. 755–790.
- Ferrante J.M.* Political vision of the Divine comedy. – Princeton: Princeton univ Press, 2014. – 393 p.
- Fontanella F.* L'impero e la storia di Roma in Dante. – Bologna: Il mulino, 2016. – 395 p.
- Fontanella F.* L'impero romano nel Convivio e nella Monarchia // Studi Danteschi. – Firenze, 2014. – Vol. 79. – C. 39–142.
- Fubini M.* Catone l'Uticense // Enciclopedia dantesca. – Roma: Istituto della enciclopedia italiana, 1970. – Vol. 1. – P. 876–882.
- Hollander R., Rossi A.L.* Dante's republican treasury // Dante studies, with the Annual report of the Dante society. – Cambridge (Mass), 1986. – N 104. – P. 59–82.
- Hooper L.E.* Exile and Petrarch's reinvention of authorship // Renaissance quarterly. – N.Y., 2016. – Vol. 69, N 4. – P. 1217–1256.
- Houston J.M.* Boccaccio at play in Petrarch's pastoral world // MLN. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 2012. – Vol. 127, N 1. – P. S47–S53.
- Ledda G.* Per lo studio del bestiario dantesco. In margine a «Gli animali fantastici nel poema dantesco» di Guido Battelli // Bollettino Dantesco per il Settimo Centenario. – Ravenna, 2012. – N 1. – P. 87–102.
- Lee A.* Humanism and empire: The imperial ideal in fourteenth-century Italy. – N.Y.: Oxford univ. press, 2018. – xxii, 438 p.

- Lee A.* Petrarch and the Venetian-Genoese war of 1350–1355 // Authority and diplomacy from Dante to Shakespeare / Ed. by Powell J.E., Rossiter W.T. – Farnham; Burlington: Ashgate, 2013. – P. 39–56.
- Lenkeith N.* Dante and the legend of Rome: An essay. – L.; Leiden: Warburg Institute: Univ. of London, 1952. – ix, 184 p.
- Lumms D.* Boccaccio's poetic anthropology: Allegories of history in the *Genealogie deorum gentilium libri* // *Speculum*. – Cambridge (Mass), 2012 a. – Vol. 87, N 3. – P. 724–765.
- Lumms D.* Boccaccio's hellenism and the foundations of modernity // *Mediaevalia*. – Albany, 2012 b. – Vol. 33, N 1. – P. 101–167.
- Mancusi-Ungaro D.* Dante and the Empire. – N Y.: P. Lang, 1987. – 201 p.
- Marzano F.* Boccaccio storico della letteratura trecentesca: L'epistola a Iacopo Pizzinga // Intorno a Boccaccio – Boccaccio e dintorni, 2015: Atti del Seminario internazionale di studi (Certoaldo, 9 settembre 2015) / Ed. di Zamponi S. – Firenze: Firenze univ. press, 2016. – P. 1–13.
- Najemy J.M.* Dante and the Florence // The Cambridge companion to Dante / Ed. by Jacoff R. – Cambridge [etc.]: Cambridge univ. press, 2007. – P. 236–256.
- Osmond P.J.* Catiline in Fiesole and Florence: The after-life of a Roman conspirator // International journal of the classical tradition. – New Brunswick, 2000. – Vol. 7, N 1. – P. 3–38.
- Petrarca F.* Opera omnia [Risorsa elettronica] / Ed. di Stoppelli P. – Roma: Lexis progetti editoriali, 1997. – 1 CD.
- Petrarca politico: Atti del Convegno: Roma–Arezzo, 19–20 marzo 2004. – Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2006. – 191 p.
- Phelps S.* The earlier and later forms of Petrarch's *Canzoniere*. – Chicago: Chicago univ. press, 1925. – ix, 249 p.
- Piacentini A.* Il carne Ytalie iam certus honos di Giovanni Boccaccio // Boccaccio editore e interprete di Dante: Atti del Convegno internazionale di Roma, 28–30 ottobre 2013. Pubblicazioni del «Centro Pio Rajna». Sezione prima, Studi e saggi / Ed. di Azzetta L., Mazzucchi A. – Roma: Salerno editrice, 2014. – C. 185–216.
- Ricci P.G.* Impero // *Enciclopedia dantesca*. – Roma: Istituto della enciclopedia italiana, 1971. – Vol. 3. – P. 383–393.
- Schnapp J.T.* The transfiguration of history at the center of Dante's Paradise. – Princeton: Princeton univ. press, 1986. – 268 p.
- Spicka J.* Petrarca e l'impero romano // *Lettere italiane*. – Roma, 2010. – Vol. 62, N 4. – P. 529–547.
- Tavoni M.* Il concetto dantesco di «unità» linguistica e le prime intuizioni di una «nazione» italiana // Pre-sentimenti dell'Unità d'Italia nella tradizione culturale dal Due all'Ottocento. – Roma: Salerno editrice, 2012. – P. 21–48.
- Tavoni M.* L'idea imperiale nel *De vulgari eloquentia* // Enrico VII, Dante e Pisa. A 700 anni dalla morte dell'Imperatore e dalla «Monarchia», (1313–2013). – Ravenna: Longo, 2016. – P. 215–233.
- Thompson D.* Dante's virtuous romans // Dante studies, with the Annual report of the Dante society. – Cambridge (Mass), 1978. – N 96. – P. 145–162.

- Voci A.M.* Per l'interpretazione della canzone «Spirto gentil» di Francesco Petrarca // *Romanische Forschungen*. – Frankfurt a. M., 1979. – Bd 91, H. 3. – S. 281–288.
- Whitfield J.H.* Dante and the Roman world // *Italian Studies*. – [S.l.]: Society for Italian Studies Leeds: Maney, 1978. – Vol. 33, N 1. – P. 1–19.
- Zanzotto A.* Fantasie di avvicinamento. – Milano: Mondadori, 1991. – 393 p.

References

- Alig'eri, D. (1995). *Božestvennaâ Komedîâ*, transl. by Ilûšin A.A. Moscow: MGU.
- Alig'eri, D. (1968). *Malýe proizvedeniâ*. Moscow: Nauka
- Bokkaččo, Dž. (1975). *Malýe proizvedeniâ*. Leningrad: Hudožestvennaâ literatura.
- Devâtajkina, N.I. (2010). Antičnoe prošloe kak aktual'naâ sovremennost' u Petrarki. *Cursor Mundi: Čelovek Antičnosti, Srednevekov'â i Vozroždeniâ*, (3), 76–89.
- Korelin, M.S. (1910). Petrarka kak politik. In M.S. Korelin, *Očerki ital'ânskogo Vozroždeniâ* (pp. 35–113). Moscow: Tipografiâ A.L. Poplavskogo.
- Petrarka, F. (1992). *Afrika*. Moscow: Nauka.
- Petrarka, F. (2011). *Moâ tajna, ili Kniga besed o prezrenii k miru* (2 nd ed.). – Moscow: URSS.
- Petrarka, F. (1998). *Sočineniâ filosofskie i polemičeskie*. Moscow: ROSSPÈN.
- Petrarka, F. (1982). *Èstetičeskie fragmenty*. Moscow: Iskusstvo.
- Èko, U. (2003). *Iskusstvo i krasota v srednevekovoj èstetike*. Saint-Petersburg: Aletejâ.
- Alighieri, D. (1995). *Convivio* (Vols. 1–2; F. Brambilla Ageno, Ed.). Firenze: Le Lettere.
- Alighieri, D. (1996 a). *De vulgari eloquentia; Monarchia* (P.V. Mengaldo & B. Nardi, Eds.). Milano: Ricciardi.
- Alighieri, D. (1996 b). *Epistole; Egloge; Questio de aqua et terra* (A. Frugoni, Ed.). Milano: Ricciardi.
- Alighieri, D. (1994). *La Commedia: secondo l'antica vulgata* (Vols. 1–4; G. Petrocchi, Ed.). Firenze: Le lettere.
- Bayley, C.C. (1942). Petrarch, Charles IV, and the “Renovatio Imperii. *Speculum*, 17(3), 323–341. <https://doi.org/10.2307/2853305>
- Boccaccio, G. (1974). *Rime. Carmina. Epistole e lettere. Vite. De Canaria* (V. Branca, Ed.). Milano: Mondadori.
- Brunetti, F. (2005). Manipolazione e trasfigurazione di una celebre frase metternichiana «L'Italia è un'espressione geografica». *Nuova antologia* (2236), 349–355.
- Carducci, G. (1935). Presso la tomba di Francesco Petrarca in Arquâ. In Carducci G. *Opere* (Vol. 7, Discorsi letterari e storici) (pp. 329–355). Bologna: Zanichelli.
- Carruthers, M.J. (2008). *The book of memory: a study of memory in medieval culture* (2 nd ed). Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.
- Chiappelli, A. (1930, November 23). Un ricordo, non avvertito, della “Firenze antica” nella Divina Commedia. *Il Marzocco*, 3.
- Consoli, D. (1971). Franchezza. In *Enciclopedia dantesca* (Vol. 3, p. 27). Roma: Istituto della enciclopedia italiana.

- Costa-Zalesow, N. (1968). Italy as a Victim: A Historical Appraisal of a Literary Theme. *Italica*, 45(2), 216–240. <https://doi.org/10.2307/478303>
- Costa-Zalesow, N. (1991). The Personification of Italy from Dante through the Trecento. *Italica*, 68(3), 316–331. <https://doi.org/10.2307/479635>
- D'Entrèves, A.P. (1952). *Dante as a political thinker*. Oxford: Clarendon press,
- Davis, C.T. (1990). Rev. of Dante and the Empire. Donna Mancusi-Ungaro. *Speculum*, 65(3), 722–724. <https://doi.org/10.2307/2864102>
- Davis, C.T. (2007). Dante and the Empire. In R. Jacoff (Ed.), *The Cambridge companion to Dante*. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
- Davis, C.T. (1957). *Dante and the Idea of Rome*. Oxford; London: Clarendon Press: Oxford univ. press.
- Dotti, U. (2001). *Petrarca civile*. Roma: Donzelli.
- Eisner, M. (2013). *Boccaccio and the Invention of Italian Literature: Dante, Petrarch, Cavalcanti, and the Authority of the Vernacular*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eisner, M. (2014). In the Labyrinth of the Library: Petrarch's Cicero, Dante's Virgil, and the Historiography of the Renaissance. *Renaissance Quarterly*, 67(3), 755–790.
- Ferrante, J.M. (2014). *Political vision of the divine comedy*. Princeton: Princeton Univ Press.
- Fontanella, F. (2016). *L'impero e la storia di Roma in Dante*. Bologna: Il mulino.
- Fontanella, F. (2014). L'impero romano nel Convivio e nella Monarchia. *Studi Danteschi*, 79, 39–142.
- Fubini, M. (1970). Catone l'Uticense. In *Enciclopedia dantesca* (Vol. 1, p. 876–882). Roma: Istituto della enciclopedia italiana.
- Hollander, R., & Rossi, A.L. (1986). Dante's Republican Treasury. *Dante Studies, with the Annual Report of the Dante Society*, (104), 59–82.
- Hooper, L.E. (2016). Exile and Petrarch's Reinvention of Authorship. *Renaissance Quarterly*, 69(4), 1217–1256. <https://doi.org/10.1086/690312>
- Houston, J.M. (2012). Boccaccio at Play in Petrarch's Pastoral World. *MLN*, 127(1), S47–S53. <https://doi.org/10.1353/mln.2012.0014>
- Ledda, G. (2012). Per lo studio del bestiario dantesco. In margine a «Gli animali fantastici nel poema dantesco» di Guido Battelli. *Bollettino Dantesco per il Settimo Centenario* (1), 87–102.
- Lee, A. (2018). *Humanism and empire: the imperial ideal in fourteenth-century Italy*. New York, NY: Oxford University Press.
- Lee, A. (2013). Petrarch and the Venetian-Genoese war of 1350–1355. In J.E. Powell & W.T. Rossiter (Eds.), *Authority and diplomacy from Dante to Shakespeare* (pp. 39–56). Farnham; Burlington: Ashgate.
- Lenkeith, N. (1952). *Dante and the legend of Rome; an essay*. London: Warburg Institute, University of London.
- Lumms, D. (2012 a). Boccaccio's Poetic Anthropology: Allegories of History in the Genealogie deorum gentilium libri. *Speculum*, 87(03), 724–765. <https://doi.org/10.1017/S0038713412001996>
- Lumms, D. (2012 b). Boccaccio's Hellenism and the Foundations of Modernity. *Medievalia*, 33(1), 101–167. <https://doi.org/10.1353/mdi.2012.0001>
- Mancusi-Ungaro, D. (1987). *Dante and the Empire*. New York: P. Lang.

- Marzano, F. (2016). Boccaccio storico della letteratura trecentesca: L'epistola a Iacopo Pizzinga. In S. Zamponi (Ed.), *Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni 2015*, *Atti del Seminario internazionale di studi (Certaldo, 9 settembre 2015)*. Firenze: Firenze univ. press.
- Najemy, J.M. (2007). Dante and the Florence. In R. Jacoff (Ed.), *The Cambridge companion to Dante*. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
- Osmond, P.J. (2000). Catiline in Fiesole and Florence: The After-Life of a Roman Conspirator. *International Journal of the Classical Tradition*, 7(1), 3–38.
- Petrarca, F. (1997). *Opera omnia* [Risorsa elettronica] (P. Stoppelli, Ed.). Roma: Lexis progetti editoriali.
- Petrarca politico: atti del convegno (Roma-Arezzo, 19–20 marzo 2004)*. (2006). Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
- Phelps, S. (1925). *The earlier and later forms of Petrarch's Canzoniere*. Chicago: Chicago univ. press.
- Piacentini, A. (2014). Il carme Ytalie iam certus honos di Giovanni Boccaccio. In L. Azzetta & A. Mazzucchi (Eds.), *Boccaccio editore e interprete di Dante: atti del Convegno internazionale di Roma, 28–30 ottobre 2013* (pp. 185–216). Roma: Salerno editrice.
- Ricci, P.G. (1971). Impero. In *Enciclopedia dantesca* (Vol. 3, p. 383–393). Roma: Istituto della enciclopedia italiana.
- Schnapp, J.T. (1986). *The transfiguration of history at the center of Dante's Paradise*. Princeton: Princeton univ. press.
- Spicka, J. (2010). Petrarca e l'impero romano. *Lettere italiane*, 62(4), 529–547.
- Tavoni, M. (2012). Il concetto dantesco di «unità» linguistica e le prime intuizioni di una «nazione» italiana. In *Pre-sentimenti dell'Unità d'Italia nella tradizione culturale dal Due all'Ottocento* (pp. 23–48). Roma: Salerno editrice.
- Tavoni, M. (2016). L'idea imperiale nel *De vulgari eloquentia*. In *Enrico VII, Dante e Pisa. A 700 anni dalla morte dell'Imperatore e dalla «Monarchia» (1313–2013)* (pp. 215–233). Ravenna: Longo.
- Thompson, D. (1978). Dante's Virtuous Romans. *Dante Studies, with the Annual Report of the Dante Society*, (96), 145–162.
- Voci, A.M. (1979). Per l'interpretazione della canzone «Spirto gentil» di Francesco Petrarca. *Romanische Forschungen*, 91(3), 281–288.
- Whitfield, J.H. (1978). Dante and the Roman world. *Italian Studies*, 33(1), 1–19. <https://doi.org/10.1179/its.1978.33.1.1>
- Zanzotto, A. (1991). *Fantasie di avvicinamento*. Milano: Mondadori.